



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ПОД НЕБОМ НОЧНЫМ

Рассказ

Друзьям-ягодникам

Альберту Гурулёву и Николаю Есипёнку

Приехали в самое скрытное, мало кому известное в Тункинской долине место неподалеку от монгольской границы, самое уютное и удобное, спокойное и для небольшой компании богатое. Съезд влево с тракта за линию электропередачи едва приметен, в заросли среди валунов чужой человек не осмелится направить машину, а тому, кто знает, куда едет, покачаться на колесах по камням придется всего-то с километр, а там открывается на взлобке ровная поляна с огромной ядреной елью в конце ее, где тропка ныряет в тальниковые кусты, — сухая, чистая, не обросшая травой, с неумолчной музыкой от речки справа. Один бок у поляны подле горушки в золотистой сосне, другой, противоположный, со стороны речки — в черемухе поперед невысокого строя кедрушек и елей. Лучшего места для табора не найти: давно нажжено тут кострище, наготовлен таганок, дров вокруг сколько угодно, а для вечернего сидения у костра лежит чуть приподнятая над землей, обкорнанная гладкая сосна, которая одновременно может служить и столешницей. Если же выпадет непогода — по извилистой тропке за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконькая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночевщику: слева за дверями маленькая железная печурка, а справа в переднем углу неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перекидывается с берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается

по завалам, чуть держится на скользком прижиме. И ведет эта тропа в кедра-чи. До них, смешно сказать, километра три, не больше, но запоминаются они надолго. Другой тут идет счет, когда то прыгаешь, то ползешь, то подтягива-ешься на руках, чтобы взобраться на каменный откос, то с суковатым шестом в руке перебираешься по скользкой лесине на противоположный берег. Нечего и говорить, что ни на какой машине сюда и не сунешься. Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы убереечь голову. День в кедраче — и позаглаза, если не для рынка. А на другой день и ходить никуда не надо: здесь же, рядом с зимовьем, по скату к речке, по камням и редколесью брусника, какая-то особая, удлиненной формы, крупная, чистая, глянцева-я, так и катится, так и катится в посудину. По речке везде черная смородина: лист по студеной воде облетает быстро, уже в августе, и она голо висит на кустах гроздьями, как виноград, и манит к себе еще издали. Совсем рядом, на вырубках вдоль линии электропередачи, заросли жимолости, она из ранних, скороспелых, и брать ее можно уже с середины июля, а висит она на кусте, не морщась, до самого конца лета. Жимолость, конечно, и поближе к городу есть, она ягода не капризная, а если уж гнал машину за две сотни километров сюда, то ноги сами собой после шишки и брусники подворачивают к облепихе. Вот это уж, верно, золотая ягода, по всем статьям золотая. Не имеет она замены ни для больного, ни для здорового организма про запас, чтобы не худилось здоровье; и по виду янтарная, так и брызжущая солнцем на реках и островах по Иркуту. Стоит лишь перейти дорогу и натянуть резиновые сапоги. Брать ее по теплу, пока она не преврати-лась в ледышки, мука: облепиха цепко лепится к колючим веткам сплошным обростом, она мнется, если ее обрывать, мнется, когда принимаешься тянуть, и только чувствительные пальцы знают, как с нею обращаться, чтобы не повре-дить. Брать ее, конечно, мука, но уж набрал — душа ликует, и старательское твое дело начинает греть тебя слаще любой выгоды.

Словом, такое это славное и фартовое место, что в какую сторону ни пойд-и, что-нибудь да возьмешь, а в хорошие годы глаза разбегаются, ноги заплетают-ся, куда воротить и что брать, — так всего много.

И вдруг не оказалось ничего. Приехали рано, в обеденную пору, и полдня потратили на торопливые и безрезультатные беги. Брусничник не родил со-всем, только на замшелых кочках вокруг догнивающих пней висит по две-три ягодки, смородичник и ягодки не показал, жимолость была реденькой, мел-конькой и скукоженной, успела ее высосать букашка-козявка, на островах и случайного взблеска не выглядели. Все ясно: пали заморозки на цвет, потом прошлась долгая и жестокая засуха, не миновавшая и этого благодатного места. Поднялись к кедрачам — там кедровка, как саранча, добывает остатную шишку и встретила их злым и пронзительным криком. Даже шиповника на просеке не оказалось, даже курильский чай рвать не хотелось — до того он стоял квёлый и примятый каленым летом. Но самый большой удар ожидал их, когда спусти-лись в низинку, где стояла зимовейка. Зимовейки не было. Ничего не осталось — будто и никогда ее здесь не было. Густая высокая трава дурниной покрыла нагретую ею землю да в сторонке жердь-сушило, протянутое от сосны к сосне. Злые ли люди раскатали от усердия черных сердец или какой корыстный мужи-чонка увез на стайку, чтоб не махать топором, — поди разберись. И разбираться

не хотелось: не было зимовейки. И сразу почужела и отвернулась тайга.

Делать нечего — надо было устраиваться на ночлег, а утром поворачивать оглобли. Обидно, конечно, но ничего, не в первый раз. Не в первый-то не в первый, однако, на этот угол, куда по дальности дороги выбирались редко и который никогда еще не подводил, надежда была столь же бесшаткая, как на наступление августа, а затем и сентября для созревания таежных урожаев. Ломался какой-то извечный и неукоснительный порядок, образовывалась пустота там, куда нога привыкла ступать уверенно, отворачивалась удача, на которую они имели какое-то родственное право. Разводя костер, гоноша ужин, выставляя из машины горбовики и ведра, вытряхивая мешки, невесело подтрунивали над собой, кто больше набрал пустобряка и напугал тайгу жадностью. Сварили хлебово и чего только в него не намешали — и картошку, и вермишель, и брикет гречневой каши, и копченое сало, и тушенку, и помидоры. Знали по опыту: чем беспорядочней и смелей, тем слаще. Открыли бутылку «Байкальской», с воодушевлением посетовали на то, что «Байкальскую», еще недавно в мировой табели о рангах занимавшую в конкурсных дегустациях неизменно первое место, с приходом нового начальства и с подлазом в местное водочное дело всюду расторопных кавказцев, хоть переименовывай в «Болотную». И с еще большим воодушевлением выпили. Потом долго и расслаблено пили чай, сладко и сыто вздыхали на подстеленных спальниках, образовав кружок между костром и елью и нежа перед сном свои немолодые кости.

Нет, не только за ягодами и орехами ехали они сюда и не о них томилась долгими зимами, вымаливая в тоске и нетерпении вот эту пору. И везли они сюда не только посуду под ягоды, но кое-что еще и в себе, требовавшее утешения. Не стало зимовья, но остался этот бугор между сосняком и речкой, обжитый многими наездами и почти родной, устроившийся так, что нельзя его ни сжечь, ни снести, и, должно быть, тоже помнящий их, потому что никогда и ни в чем не принесли они ему урона. Здесь даже грубое слово не выговаривалось. Остался этот неумолчный и нежный, хрустальный звон речки, это обрезанное горами и изгибающееся небо, эта высокая дородная ель с зеленью до синевы и широким, загнутым по краям изладом борчатого подола, и дикая, в сумерках совсем мрачная картина уходящей вверх по речке тайги с высоко и мертво торчащим сухостоем, и грубый крик козла где-то неподалеку, похожий на рев медведя, и ночное звездно-трепещущее небо, и предутренний, короткий, как выдох, шум верхового ветра, тронувший верхушки сосен и елей и тут же загасший... Остался этот вязкий и хмельной запах всего-всего, что есть вокруг, — от муравейника, расположившегося рядом с тропкой на спуске с бугра, от вызревшей травы, клонящейся и отдающей сухостью, от порыжевших грузных сосен и согбенной от старости черемухи, от камней, поросших мхом и наполовину ушедших в землю, от вывороченного соснового корневища, от нагревшейся за жаркое лето горы. Остались это умиротворение, этот покой, в которых сейчас лежит тайга, это желанное и щедрое отпущение грехов...

Их было трое, больше двадцати лет ездили они вместе, не пропускали ни одного сезона, то за ягодами и орехами, как теперь, то на подледный лов на Байкал, а то просто на ночевку без всякого заделья куда-нибудь подальше от города. Ездили без спешки, не так, чтобы рвануть что под руку попало и бегом обратно, а начиная томиться по воле еще с начала зимы, и дни на нее отводили

без укорота. Приходит болезнь и забирает столько времени, сколько унесет; опалит ни с того ни с сего какая-нибудь душевная травма, вроде любви или тоски, и тоже весь чеканный распорядок жизни насмарку, не дни, а недели, месяцы губятся напропалую. А лень-матушка какие подати берет! Так неужели же среди этого нескончаемого мотовства нельзя высвободить себе в награду за нешуточный героизм в непрерывной борьбе за сносную жизнь четыре законных дня, чтобы из сплошных ран собрать себя в приличный вид?! А потом еще четыре, а потом еще — всего и наберется за год на две недели. Зато никаких отпусков не надо. Да и какие отпуска?! Один, геолог, работал сторожем на лодочной станции; второй, редактор книжного издательства, превратился в надомника и выпускал в год по одной-две книжки с текстами по народной медицине и народной кухне, а также о народных развлечениях, вроде кулачных боев и трактирных посиделок, и книжки эти превратили двухкомнатную квартиру в склад: все народное вместе с народом не пользовалось больше спросом. Третий, математик, кандидат наук, имевший к тому же философский уклон, зарабатывал тем, что писал для студентов курсовые и дипломные работы, возвращая законченных неучей и лоботрясов. У всех троих таким образом время было в личном распоряжении и ритмом своей жизни они могли заведовать сами. Но это только казалось, что сами. Новые скорости пустили в карусель всех, сильных и слабых, хватов и нехватов. Чтобы не исчез со стола кусок хлеба, усилий требуется не меньше, чем иному, разворотом повыше, для строительства виллы. У всех троих были семьи, со всех троих не снялась обязанность кормить их и одевать. До пенсии они еще не дожили, а надежд на то, что вспомнят о них и призовут, как гребцов за весла, чтобы снять громоздкий корабль с мели, — таких надежд не осталось. И потому неуклюже, неуверенно, сбиваясь с шага и теряя цель, все равно постоянно куда-то торопились.

Но наступал желанный час — и всё: снималась обуза, распрямлялась грудь, в глазах появлялся азарт. Они садились в старенькую «Ниву», принадлежавшую издателю, выдирались из города, из уличных его теснин, загаженных пошлыми рекламными цитами, и точно взмывали в воздух под попутный ветер. Доставался «бортовой журнал» в виде потрепанной ученической тетради, свернутой пополам, и в зависимости от того, куда, в какую с сторону держался маршрут, зачитывались прежние записи о своротах и тропах, об урожае и вновь открытых «месторождениях», о слухах, будто там-то и там-то, на таком-то километре, если свернуть вправо, такие ждут угоды, что хоть косой коси и лопатой гребь. Но они старались не обманываться красивыми слухами и близкими километрами: что доступно — любое богатство выгапывается, выдирается и вминается колесами в землю быстро, оскорбляется криками и музыкальным ревом. Там и ягоде не рад будешь. А у них «Нива», на ней забирайся в любую непролазь, можно даже и потолкать, чтобы еще дальше, но зато в безлюдье и тишине, под стук дятла и игривые набеги любопытного бурундука, посверкивающего полосатой спинкой, под натужный скрип раскачиваемой ветром лиственницы и треск костра, под стрельчатые лучи низкого закатного солнца, пробивающиеся сквозь купу высоких гладкоствольных сосен, под тяжкий гуд важно продирающегося в плотном воздухе жука и легковесную, плавающую, раскачивающуюся в этом воздухе, как на волне, печальную скинь листа. Эх, да что говорить! Разве может быть что-нибудь радостней такого свидания!

Вот и в этот раз солнце не заходило долго, обходя, чтобы не напороться, острые, как пики, четко торчащие на горизонте верхушки елей. Сидя у костра, они и наблюдали за солнцем сквозь густо осыпанные янтарными блестками сосны. Было совсем тихо и торжественно — словно все вокруг замерло, отдаваясь этому магическому прощанию, этой сладкой и тревожной перемене в мире. Только журчала речка, обвевая камни, и только трепетали в безветрии под дыхом солнца на черемухе листья.

А ушло оно — сразу потянула от речки прохлада и оборотилась все в терпеливом внимании в ту сторону, откуда подступала ночь.

Издатель, невысокий, плотный, медлительный и основательный, был из белорусов, пришедших в Сибирь еще при Столыпине, и порывистый, шумный геолог не однажды задирает его:

— На тебя посмотреть — понятно, как немцу удалось в войну перестрелять третью часть белорусов. Вы пока один раз ружжо свое перезарядите, он пять раз выпалит.

— Ну да, — спокойно и иронично отвечал издатель, — а на тебя посмотреть — понятно, как вы без оглядки залетели в пропасть. А белорусы и себя сохранили и вокруг себя сохранили.

Он и в городе ходил в кожаных сапогах с высокими голенищами, начищенных до блеска и отбрасывающих солнечные зайчики, и в спортивной куртке. Костюмы не признавал, а в туфли его поднятые во взёме ноги не вмещались. В этом не было ничего нарочитого, так ему было удобней. Но, пожалуй, и прав был тот же геолог, называя издателя разночинцем, демонстрирующим, что ничего общего с интеллигенцией он иметь не желает. Интеллигенцию они не любили. Считали, что во всем том, что произошло с Россией за 90-е годы, виновата она, что это был ее «звездный» поганый час, после которого ей суждено только одно — зачахнуть от избытка яда, разлившегося по ее внутренностям. Кандидат наук, единственный из них, был умеренней в этом взгляде, как-никак ученая степень, пусть и не ахти какая, успела на него повлиять. Но он, единственный из них, продолжал походить на интеллигента и внешне: ухоженное брюшко, вялое утомленное лицо с быстрыми глазами и привычка, говоря, тереть рукою подбородок. Когда они вставали наизготовку перед тем как двинуться на ягоду, геолог, большой и длиннорукий, с остатками рыжих волос на голове, нетерпеливо перебирал ногами в кроссовках, не боящихся никаких ям и завалов, издатель проверял в последний раз бесчисленные карманы штанов и куртки — все ли веревочки, проволоочки и ножички при нем, а кандидат наук охорашивался, как перед выходом на кафедру, оглаживая себя по рукам и ногам. Он меньше всех обычно и набирал; чище всего ягода была у издателя; геолог пер на тайгу как медведь, руки у него ходили как лопасти, но его жене дома предстояла нелегкая работёнка извлекать ягоду из таежного хлама.

И вот — ни у кого ничего. Устали они в пустой беготне больше, чем если бы весь день махали колотом, сытый ужин и вовсе пригвоздил их к земле, не было сил подняться, чтобы подкинуть в костер. О неудаче, как договорившись, не

вспоминали, все равно было хорошо и отрадно, а вволюшку набегавшись, они словно до конца очистились от городского нагара и теперь чувствовали себя обновленными, живущими в такт здоровому и могучему дыханию тайги. Но вспомнили старика, хозяина погубленной зимовейки. Старик этот был из местных, из приграничного поселка, не больно-то шумного и людного, но и им почему-то он стал тяготиться и срубил здесь, километрах в пяти от людей, избушку, притащил печку. Забираться в дальние и совсем уж глухие дебри старик не решился, не надеясь на здоровьишко, а здесь и в последней немочи можно было выползти на дорогу и не остаться без гробовой доски. Так оно в конце концов, вероятно, и вышло, потому что старик исчез. А до того лет семь с ранней весны и до ноябрьских морозов и снежных заносов обретался тут в полном одиночестве, находя в нем, по-видимому, последнее утешение. Высокий, чуть пригнутый, как и полагается лешему, заросший, не снимавший с плеч телогрейки, с желтым, до борозд пропаханном морщинами, лицом, ступавший с приклоном, но уверенно, полным шагом. Встретив его здесь в первый раз, зазвали к своему костру, угостили — и кружку с водкой взял, и закусил, ел неторопливо и равнодушно, говорил неохотно. Не без труда выудили из него, что живет на ягоду, на орехи, на черемшу и грибы, всю эту лесную добычу доставляет пограничникам, они дают взамен свою пайку. Пенсию не хлопотал, товарищ не требуется. Обирился после смерти старухи, да, хорошая была старуха, одна на тысячу. Зачем вам, как ее звали, это я ее звал, а вам ни к чему. Долго и всласть пил с ними чай, взял и с собой пачку, вот тогда и сказал, где орешник. Но идти с ними отказался.

За зиму вспоминали о нем не однажды и подготовились к встрече: привезли и с огорода, и с прилавка, и от домашнейстряпни. Старик принимал свертки с кивками еще больше присевшей головы, но по-прежнему безучастно. Спросили, как здоровье, — ответил каким-то давним складом: «Здоровье добровье». Впускать в свою душу не хотел, да и жива ли она была, душа-то, не запустил ли он ее в зарослях и дремоте? Чай пил опять с охотой, до пота на дряблом лице; за чаем рассказали ему о семье Лыковых, сбежавшей от людей в пустынные верховья Енисея и десятилетия обходившейся тем, что давала тайга. Не удивился — может быть, знал о Лыковых, а может быть, нечем было удивляться, но ответил вдруг живей и тверже, в духе старинных отшельников-прорицателей: «Побежит человек от человека. Везде побежит». — «Как побежит? Почему побежит?» — заторопились узнать, но старик опять ушел в себя, взглядывая непонимающе на их непонимание, и не стал объяснять, объяснения ему не давались. Собиралась гроза, гром перебежками околачивал огромную, в полнеба, темнолиловую тучу то с одной стороны, то с другой, прыснуло тревожно по кустам ветерком, и старик заторопился под свою крышу. Утром, как поднялись, его в зимовейке уже не оказалось, дверца была приткнута батошкой, показывающим, что хозяин на своих еще крепких ногах далеко.

И еще раз довелось увидеться — года через три. На этот раз дверь зимовейки была распахнута, старик среди бела дня лежал на нарах под телогрейкой. Он узнал их, тяжело, с кряхтением поднялся, подковылял к порожку и опустился на него, щуря от солнца глубоко запавшие глаза. Лицо его обострилось и еще больше замшелло, свалывшиеся волосы лежали на голове сильно потертой шапкой.

— Занемог, — сказал. И не стал тянуть, попросил: — Отвезете меня повечеру в поселок?

— Давай сразу и отвезем, пока не растаборились.

Согласился, кивнул, дал себя под руки поднять в горку к машине.

Зимовал он, выяснилось, когда привезли его, в баньке. Избу, огород не то продал кому-то, не то отдал, а баньку оставил: почти то же зимовье — железная печурка, фанерный ящик на лавке перед окном — стол, невысокий темный полк — кровать. В маленьком предбаннике в углу куча износи, на деревянные костыли на стеночке поддеты старый-престарый овчинный полушубок с потрескавшимся морщинистым верхом и связка кирзовых сапог. Для него опять привезли пакеты с разной провизией — от всего отказался, попросил только курево. Отказался и от всяких услуг и заметно тяготился теми пятнадцатью минутами, на которые они задержались, пытаясь хоть сколько-нибудь вызнать обстоятельства его жизни.

И все, больше они его не видели. Однажды брали облепиху на Иркуте вместе со стайкой поселковых ребятишек лет двенадцати-пятнадцати и стали спрашивать о нем, но ребята пожимали плечами: они о таком даже не слышали. А ведь вроде не букашка. Но так редко он, должно быть, попадался на глаза и с таким постоянством избегал всякого общения, отсиживаясь то в летней берлоге, то в зимней, что о нем стали забывать еще при жизни его, а по смерти и вовсе из памяти переселили в бесконечную общую могилу, где покоится и все великое, и все малое.

Но была же у этого старика какая-то тайна, которую он не захотел разделить с людьми, была же у него особая и тяжелая страсть, какое-то главное извлечение из жизни, которым он подчинился весь и до конца! Может быть, в коротко оброненных однажды словах: «Побежит человек от человека» — это извлечение и состояло? Или в чем-то другом? Если он сказал это, он мог сказать и больше, когда бы его осторожно попытать, мог открыть такую бездну пережитого и уложенного в определенный и беспшаткий порядок, направлявший его поступки, которая им и не снилась. Эх, пустоболты, пустоболты, за годы несчастного старика не смогли разговорить. Даже имя не узнали!

И долго еще в этот вечер снова и снова теребили в памяти старика.

— Не мы не спросили, а он не сказал свое имя, — уверен был кандидат наук. Он лежал на локте и, вытягиваясь, переваливаясь на живот, обирал вокруг по земле разбросанные сосновые шишки и метал их в костер. — Я спрашивал, я помню. А он сделал вид, что не слышит. И старухино имя не назвал. Ему почему-то нужно было остаться в неизвестности, уйти из жизни еще при жизни. К нам у него расположение было. Если кому он открылся бы, он открылся бы нам. Потому что нам рассказать, это все равно, что никому не рассказать. Мы приехали и уехали, были и нету. А все равно держал себя взаперти. Может, обет такой дал? Обидели его, а он эту обиду на всех, сделал из нее и религию, и философию.

— Он просто не принял эту новую жизнь-подлянку, — задумчиво предположил издатель. — Даже дышать ею не захотел. Гордый был человек. Как всякий отшельник.

— Отшельник не значит что гордый, — проквашал набухшим голосом геолог, раз за разом гулко зевавший, исходящий от сытости и блаженства.

— Кому он относил свою добычу, свой урожай? Пограничникам. И только им. Не торчал с горбовиком возле магазина, не хватал за руки, чтобы навязать, не заискивал, не торговался, а шел прямо на заставу. Что давали, то и брал. Две банки тушенки и две буханки хлеба. Он не каких-то там частностей, как мы, он полностью этого мира не принял. Поэтому и ушел.

— Недалеко же он ушел...

— А куда можно далеко уйти?

— Не знаю. Но куда-то можно. Нет, тут другое дело, — не согласился кандидат наук и с издателем, и с собой, с тем, что говорил только что. — Тут личное.

— Он внутренне ушел, — стал объяснять издатель, неторопливо поднялся, осторожно ставя ноги в толстых шерстяных носках, подошел к костру, разрыл в нем, уже затухающем, чадающий уголек и, взбодрил его, перекачывая с ладони на ладонь, прикурил, затянулся всласть и продолжал благодушно, возвращаясь на спальник. — Не за тридевять земель ушел, а внутренне. Ничего отменить вокруг себя он не мог и понял, что отменить нельзя, уже приросло. Ну и живите как хотите, а я так не могу, я в плен не сдаюсь.

Но кандидату наук уже понравилось свое толкование, он вообще стоял за решительное и только личное, в противовес безнадежно лживому обществу, исправление человека, только в таком перерождении видел кандидат наук условие притяжения положительных частиц, из которых составится спасительная энергия, и он настаивал:

— С порядками старик не согласился, это верно... кто из нас согласился? Но это у него было на втором плане, может, даже на третьем. Больше всего, мне кажется, он был не согласен с собой. Что-то он такое сделал, с чем во всю оставшуюся жизнь не мог согласиться. И за это себя в ссылку отправил. Он с собой не ужился, сам в себе преступника нашел. Может такое быть? Очень даже может. Вспомните, он ни разу о себе ни одного оправдательного слова не сказал.

Издатель от удивления присвистнул:

— Зачем бы, скажи на милость, он стал говорить о себе оправдательные слова? Мы ему приговора не выносили.

— Это неважно.

— Как это неважно? Старик не настолько близко нас к себе подпускал, чтобы терпеть от нас упреки. Да их и быть не могло!

— Эх, мужики, мужики! — вмешался опять геолог. — Вы как будто и не мужики. Таковую вы ахинею развели! А дело-то проще, дело-то ближе лежит.

— Давай его сюда, раз ближе.

— Вот вам и давай! У старика была старуха! Была у старика старуха? Была. И такая это была старуха, такая была старуха!..

— Рябая, кривая, косая, хромая!.. — в тон подхватил кандидат наук и засмеялся — до того ловко у него получилось.

— Да, — решительно согласился геолог, — рябая, кривая, хромая. Ну и что? Он тоже был не красавец. Но между ними было что-то такое, такое, чего мы и знать не можем, к чему мы даже и не приближались!

— И он осиротел — ты это хочешь сказать?

— Он не просто осиротел, он себя вместе с нею похоронил. Только тень свою оставил. Ему все неинтересно стало, все не нужно. Много ли надо тени? Люди

над ним насмехались — он ушел от них, за хлеб потребовалось душу отдавать — он мог без хлеба обходиться, на одних вершках и корешках, которые брал здесь. А зимой он пограничникам снег отгребал от складов еще потемну. Приходил потемну и уходил потемну.

— Идеалист ты! — отозвался кандидат наук и поднялся, шагнул в темноту, забрызгал там в траву. И, пока раздавались отзывы о нем, что-то напевал. Потом вернулся, встряхнул свой спальник, все еще напевая, постоял на нем, раздумывая и почесываясь, надумал плеснуть в кружку из котелка с чаем. После этого снова улегся, набросив согнутые в коленях ногу на ногу и придерживая кружку на груди. Совершенно умиротворенная душенька в нем просто-напросто:

— Эх, хорошо!

После первой, натянутой из чащи, темноты под звездосеем развиднелось, поднявшуюся сразу после захода солнца холодную волну утянуло в землю, и стало мягче, теплей. Ель-великанша выставилась еще выше и грозней, луна-половинка, взошедшая от горы, с той стороны, где кедрач, никак не могла выдраться из лесных зарослей, возилась, дробилась в них и в изнеможении исчезала. Речка дзинькала чистым повторяющимся перебором, который то приближался, то отдалялся, только он и наигрывал в тишине. Пóры всего живого, всего тянувшегося вверх и разостланного по земле, раскрылись для обратного тока, для выдыха, и воздух полнел и томился пьянящим настоем.

Они враз блаженно вздохнули и в сладком оцепенении затихли. Стало слышно, как с шуршанием возятся в небе звезды. Издатель негромко и вкрадчиво рассмеялся.

— Как птички, — сказал он.

— Птички? — хмыкнул, и тоже с осторожностью, словно боясь что-то вспугнуть, кандидат наук. — Какие птички?

— Как мы теперь застыли, так и птички. Это в природе что-то такое бывает. Что-то завораживающее. — Издатель приподнялся и, подбирая под себя ноги и усаживаясь на них по-монгольски, заговорил свободнее. — Я на даче птичек кормлю, — продолжал он. — По весне... они за зиму наголодаются... это такая забава — наблюдать, как они кормятся. За окном у меня стоит чурка, прямо неохватная. Насыплю хлебных крошек, сальца мелкими кусочками нарежу, маслице с мороза настрогаю. На все вкусы. Они уже стригут под окном — вверх-вниз, вверх-вниз. Синицы, воробьи, поползни. По часу можно смотреть и не устанешь.

— Воробья накормить — все равно что корову, — посочувствовал геолог.

— Воробей, хочешь знать, — самая симпатичная птичка, — решительно встал на защиту воробья издатель. — И несколько не жадная. Самая аккуратная, дружная, незлобивая. На него напраслину возвели — вором назвали. Никакой он не вор. Или в старину был вором, но, в отличие от нас, переменялся к лучшему. В сенцы воробей никогда не полезет, шнырять где попало не будет. Он не назойливый, место свое знает. Кормится со всеми вместе — воробей у другой птички, у синицы там или еще у кого, из-под носа вырывать не станет. И сгонять с кормушки не станет. Столкнет случайно хлебную крошку на землю — обязательно слетит и подберет. Повздорят между собой, но как-то без зла, играючи, и опять рядом. Погонится один воробышек за другим, когда тот улепetyвает с

добычей, и по дороге забудет, чего ради гнался. Остановится, головкой потянет во все стороны, осмотрится добродушно и прыг-скок опять к стайке. Поползень, а он мельче воробья, тот рвет и мечет, ему хоть воз вывали, он все будет хватать и таскать. Синица тоже не успокоится, пока все до последнего кусочка не выгаскает. Воробей другой: он поел, сколько ему надо, тут же и поел, где дали, и вся стайка дружно снимается, летит по другим делам.

— И свободу любит, — похвалил геолог. — Воробей, как цыган, в неволе жить не может.

— К тому же вегетарианец, скоромного в рот не берет.

— Сколько качеств! — засмеялся кандидат наук. — Не поет ли он еще ко всему прочему как соловей? Не слышали?

— Он прекрасно чирикает — зачем ему петь? — готов был обидеться за воробья издатель. — Но, хочешь знать, из воробья прекрасный актер. Мне одна парочка однажды в благодарность концерт устроила. Наелись, день теплый, солнышко разогрелось, а у меня под стоком полным-полнешенька бочка с водой. Они давай в ней хлюпать. Я неподалеку был, сижу, смотрю на них. Так они что... они поняли, что я за ними наблюдаю, что я, значит, зритель и мне это в удовольствие, и давай стараться, и давай! Чего только не выделывали! Окунаются, взлетают, шлепаются обратно, пляшут на воде, крылышками бьют. А потом сядут отдохнуть на край бочки и глаза на меня: нравится мне или нет? Я им аккуратно так поаплодирую — они и в восторге, и опять за свои номера.

— Гляди-ка ты! — геолог, казалось, действительно огляделся и удивился: — Так мы где — на даче у тебя или в тайге?

— Я не досказал, подожди.

— Ну-ну?

— Дважды я наблюдал... я потом спрашивал у орнитологов, они не могут объяснить. Дело происходит так. Утром я выношу корм, птицы мои набрасываются на него. С утра все голодные, работа идет полным ходом. И вдруг в самый разгар, в самый жор наступает момент — вдруг все замирают. Все. В момент. Сидят окаменевшие и не шевелятся. Как придавленные, как пригвожденные. Даже поползень... а это непросто представить, чтобы поползень, эта шныра, этот хват-перехват, хоть на секунду задумался: А тут и он со всеми вместе. Все в каком-то глубоком обмороке.

— Медитируют!

— Пошел ты! — отмахнулся издатель, не прерываясь. — И это продолжается минуту или полторы. Минуту или полторы они не шевелятся. Я тоже не шевелюсь, потому что ничего не могу понять, а что это такое, понять охота. Потом вдруг поступает какой-то сигнал, что-то такое происходит — они оживают. Враз. Одномоментно. И принимаются как ни в чем не бывало на перегонки долбить клювами. Что это? Как это объяснить? Может, повелительный глас сверху, он говорит что-то важное и говорит для всех тварей на одном языке?

— Вполне может быть, — согласился геолог. — Только у пичек есть такой слуховой аппарат, а у нас нет...

Что им до воробья, до этой неказистой птички, лепившейся к жилью, от которого они убежали и которое невольно казалось им теперь кандалными колодками, когда такая бескрайняя и заповедная разверзалась перед ними благодать: пылало небо, огромной птицей, широко раскинувшей лохматые крылья,

лежала тайга, дышавшая могучим спокойствием!.. Что им было до случайных встреч и совсем уж мелких пустяков, на которые в суете постоянно натывается городская жизнь, если она осталась далеко-далеко за опустившейся, навсегда закрывшей все вчерашнее вечностью! Но легко и в охотку говорилось и о воровствах, и о пустяках, с удовольствием беззаботной отрешенности подтрунивалось друг над другом, переливалось из пустого в порожнее, дотрагивалось до любовных походов, соскальзывало на обсуждение вопроса о тонкостях женской психологии — и все было кстати, все умиротворенно баюкало и тешило душу. А когда геолог пристыдил: «Да о чем вы? Что — нам одним здесь плохо? Не поминали бы на ночь глядя...» — это он о женщине, — готовы были и вовсе, отдавшись тишине и благодати, отчалить ко сну, но, пристыдив друзей, геолог сам же и возбудился от неосторожного прикосновения к этому бьющему током предмету. И уже через минуту напористо докладывал:

— Я прихожу домой, никакого зла у меня к ней нет, никаких претензий нет. Я прихожу к ней...

— К кому — к ней? — кандидат наук не мог, чтобы не уточнить.

— К медведихе. К кому еще! Но я прихожу к ней как к человеку, у меня к ней ничего такого. Ну, может, небольшой осадок. Но попробуй сейчас пройди по улице и не нахватай осадка. Не грубо, совсем не грубо, просто голос у меня на две октавы ниже... И эти две октавы спокойно интересуются: ну, что у нас сегодня новенького? Она выходит, природа, вы считаете, наградила ее удивительно тонкой организацией, и она грудным, мелодичным, любящим голосом отвечает: «Все у нас, милый, хорошо, не волнуйся, пожалуйста». Я спохватываюсь: что это я свои октавы распустил? И мы, как голубки, принимаемся ворковать. Да! — вколотив это восклицание, геолог сделал значительную паузу. — Я, конечно, прихожу. И она, конечно, выходит. И на мой чуточку расстроенный тон взрывается! Ну, не обязательно взрывается...

— Это значит, что одна жена у тебя взрывалась, а другая не обязательно взрывалась?

— Ну да, одна взрывалась как мина немедленного действия, другая — как отсыревший порох. Третья и вовсе: чадит, дымит, а взорваться не может. Но лучше бы уж взрывалась. У нее такой вид, будто она в секунду от потери сознания. Конечно, от моих варварских пыток, от моего таежного дикарства. А ведь всего только и требовалось — минуту потерпеть! На минуту разоружиться! Одна минута и бери меня голыми руками!

Где-то далеко-далеко в вершине речки ухнул козел, и тут же еще, и два этих взрева одним лохматым клубком прокатились по тайге и отозвались мирным стоном за Иркутом.

— Не спит! — по-охотничьи, по-животному насторожившись, встав на колени и подаваясь с втянутой в плечи головой вперед, прошептал издатель. — Эх, хорош! По голосу видать. Да-а! Вот чего бы: козел крикнул! А сердце зачастило.

— Пободаться зовет, — хотел сыронизировать кандидат наук, но не хватило в голосе ни соли, ни перца.

— И пободаться бы можно, — растроганно согласился издатель.

Сбили геолога, как птицу в полете сбили с его вдохновенного рассказа о трудностях семейной жизни — и он не стал продолжать. Только вздохнул — как горе смахнул — и лег на спину, чувствуя, как начинает его осторожно зыбать

вверх-вниз, вверх-вниз, вздымая и опуская под круговое движение неба.

Ночь вызрела и вызвонилась до конца. Небо искрило, пыhalo, пылающей бездной текло между деревьев. Со всех сторон оно было огорожено лесом и горами, но за дремотно воркующей речкой и за невысокой лесной заставой уклон земли к монгольской границе продолжался, и туда же вытягивалось и небо. Огромная ель пропорола его над поляной выше звезд; снизу казалось, что они висят на ветках как новогодние лампочки. Невызревшая луна все еще робела за соснами и была едва видна, а звезд высыпало так много, что они не умещались на небесном пологe и подталкивали друг дружку; огненные полосы от зазевавшихся и сорвавшихся прочерчивались раз за разом, оставляя за собой тонкий зыбистый дымок. Все это множественное огнище переливалось, кипело, перекачивалось над головами, струилось и порхало. Глаза тоже слышат: опустишь их — и торжественная тишина понизу, а поднимешь — шуршание, сухой мелодичный треск, вздохи и высоко стоящий, медленно и осторожно снизывающийся гул огромного, во весь свод, колокола.

Костер загас окончательно, изредка что-то спекшееся в нем насвистывало томной фистулой; в глухом и неверном мертвeнном свете стоящая боком в двадцати метрах белая «Нива» виделась вздыбившимся, поросшим седым мхом, валуном, отбившимся от группы таких же, лежащих в покое подле горы. Временами, точно плотная ночная завеса приоткрывалась и закрывалась, доносило глухой слитный шум Иркута за дорогой, и тогда мерещилось шевеление ветвей на кустах и деревьях по притоку этого шума.

— Вы знаете такой народ — саами? — спросил вдруг кандидат наук.

— Саами? Сами саами, — сложилось у издателя. — Они живут где-то на европейском севере. Кажется, в Финляндии.

— Они есть и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии, и у нас, в Карелии. Очень симпатичный народец. И вот в нем я однажды встретил ангела. Это было в Швеции.

— Ангела? В Швеции? Ты? — засмеялся геолог, оборачиваясь к издателю: как, мол, тебе нравится то, куда наш приятель заехал? Издатель что-то внимательно изучал в небе и не отозвался. — Ну конечно, каждому свое, — рассудил геолог. — Я сейчас вспоминал свою бабушку, казачку из даурских степей... она качала меня в зыбке и напевала одну и ту же песню: «Скакал казак через долину». Я вспоминал бабушку, а ты, оказывается, вспоминал ангела. Из Швеции. Я, конечно, горжусь, что у моего друга такие связи. Ну-ну, давай дальше.

Но издатель попросил погодить две минуты. Он поднялся, припадая на затекшие ноги, подковылял к машине, долго там рылся, перегибаясь с заднего сиденья в багажник и выставив за дверцу оттопыренную, обутую в толстый шерстяной носок ногу. И вернулся с извивающимися и повизгивающими резиновыми сапогами.

— А это зачем? — удивился геолог.

— Пускай будут рядом.

— Думаешь, натянет?

— Под голову пока положу. Что-то совсем потеплело.

— Не должно бы, — сам себе отвечая, сказал геолог с запрокинутым вверх лицом. — Если бы что, смеркаться бы стало. Не должно. Ну так что, — подтолкнул он кандидата наук, — что там с твоим ангелом? Один рассмотрел в небе

полуночи дождь, второй ангела. Каждому свое. Давай договаривай да спать будем.

— Я могу и завтра.

— Не набивай себе цену. Завтра ты что-нибудь другое расскажешь. Про ангела давай сегодня.

Кандидат наук выдержал паузу, ровно такую, чтобы не пострадало его достоинство, и начал с некоторой чеканностью в голосе:

— Это давно уж было, вскоре после Чернобыля. Поездка в Швецию готовилась еще до Чернобыля, и отменять ее не стали, а шведы даже настаивали, чтобы не отменять.

— Это когда ты экологом был, что ли?

— Ну да, именно был и именно экологом. Примкнувшим и отставшим. На большее нас не хватило. А там этим делом занимаются всерьез, там они собираются жить долго. — Кандидат наук заговорил живей и стал подхмыкивать себе, показывая, что он и теперь удивляется некоторым подробностям этого воспоминания. — В Стокгольме нас разделили на группы, а нас было человек двенадцать, и повезли в разные места. Я угодил на Север. Чуть не весь день ехали вдоль Ботнического залива, и вся автострада на сотни километров обтянута заградительной металлической сеткой. Вот как они к этому относятся.

— Зачем обтянута-то?

— Чтобы лоси, олени не выскакивали. Лосей берегут. Ну и себя тоже. Люди там сплошь активисты, с нашим братом не сравнить. Женщина... ну чтоб в сердце ударило, магнит в ней был... таких женщин и нет почти, феминистка на феминистке.

— Ой, бяда, бяда, бяда! — игриво и искренне пропел геолог голосом своей настрадавшейся судьбы. — Ты встретил среди этого сухостоя, среди этого войска сержантов освободительной армии один живой экземпляр — и она показалась тебе чудом. Так ведь! Признавайся.

— Нет, она и вправду была чудом. И она была бы чудом где угодно. Ни длинных, как у цапли ног, ни титек с арбуз, росточку малого, лицо круглое, обыкновенное и волосы почему-то не черные, как полагается по природе, волосы почему-то пепельные... Тут, может, какая шведская примесь, только давняя...

Геолог со знанием дела подтвердил:

— Эти чуды всегда так: они не от папы с мамой, а от разных народов.

— Саами в Швеции, кажется, тысяч пятнадцать, — продолжил кандидат наук, устанавливая на колени и принимая чуть лекторский тон. — Живут в горах, пасут оленей. Но в том-то и штука, что живут они в городах. Ну, скажем, в городках перед горами, а на стойбища, на пастбища в горы летают на вертолетах. Олень хорошо, а вертолет лучше. Неплохо живут, да? И все было неплохо, пока не выстрелил наш Чернобыль. Чернобыльскую тучу ветром обнесло мимо южной Швеции, а на севере она возьми да и заверни. И выброси вместе с дождем свой заряд. Бедным саами пришлось чуть ли не всех своих оленей забивать и сжигать. Компенсации там, то, другое — все это у них на месте. Но это же не все. Что делать: или уходить с родовых земель, или неизвестно сколько собирать заразу? Это не просто ах-ох... без родовой земли все эти северные народцы быстро вырождаются.

— Без родовой земли все мы вырождаемся, — сказал геолог.

— Ну да, но маленькие народы вырождаются быстрее. Они дети природы, любимые дети. А мы так, на общих основаниях. На нас можно рукой махнуть: делайте, что хотите, убивайтесь, калечьтесь, выскакивайте прочь из себя, как из старой дерюжки. Вы сильные, и, если ваша сила пошла вам во вред, туда вам и дорога. А какие-нибудь юкагиры или эвенки... Господь держит их возле себя как последнюю надежду на человека. Он не позволяет им мучиться. И если они выпадают из родового гнезда... если они выпадают, то исчезают совсем. Никем больше, кроме как юкагиром, юкагир быть не может.

— Ну и как ты повстречался со своим ангелом? — совсем на манер геолога поторопил издатель; он не спал, оказывается, лежал неподвижно, на спине, с разбросанными широко ногами.

— А мы ехали, ехали и приехали в один городок. Называется Вилельмина. Видите, я даже название помню, — не удержался, воздал себе должное кандидат наук. — Встреча с защитниками природы, как везде. Народу немного, человек пятьдесят-шестьдесят. Помню, на встречу притащили олени рога, радиация на них больше нормы в тысячу раз. Но меня спрашивали еще и о Байкале. Байкал они знают, наслышаны.

Ущербная луна выбралась, наконец из лесных зарослей, и, не поднимаясь высоко, по южному небесному скату, висящему над Монголией, двинулась напролом по затыканному звездами полю. По-прежнему было тепло и тихо, растопыренные лапы ели лежали в воздухе тяжелым навесом и, чудилось, подталкиваемые небесным дыханием, каруселью двигались по кругу. И видно было, как на черемухе вздрагивали листья — точно от звездных уколов.

— Она подошла ко мне уже после встречи, когда народ стал расходиться, — негромко говорил кандидат наук. — Как всегда — одни в двери, другие с вопросами. Но она, кажется, ни о чем и не спрашивала. Она рассказывала, что у них происходит, там в горах. И о том, что никто не знает, что делать. Но я и не помню, что она говорила, она могла говорить что угодно, все равно бы я ничего не понял. Я бы все равно слушал только ее голос. Какой у нее, братцы, был голос, какой голос!

— Это, кажется, участь старости — влюбляться в голос! — с той легкой и летучей ревностью, о которой нельзя определенно сказать, была она или нет, — сказал издатель.

— Само собой, — согласился кандидат наук и не стал отвлекаться. — Это был какой-то чудный музыкальный инструмент — мягкий, нежный, ласковый, чистый. Он ее всю преобразил. Она не говорила, а пела. Лицо, это самое обыкновенное полудикарское лицо с беспородным носом, это лицо вдруг зацвело и затрепетало, щеки порозовели, глаза заплескались светом, сиянием, зарей. Оно сделалось удивительно красивым, ангельским, все в нем было вылеплено как-то не по-земному: маленькие грудки взлетали, когда она говорила, руки, как в заклинании, всплескивались, поднимались одновременно к щекам и опускались. Она пела и пела, а я только бессмысленно кивал, не в силах отвести от нее глаз, и ничего не понимал из ее слов. Не можем же мы сказать, о чем поет соловей. И не всегда он, наверное, поет о любви, иногда он, наверное, жалуется на что-то, но эти самые переливы, где у него восторг и где грусть, нам недоступны.

— Да-а-а, проняла она тебя, — удивленно отозвался геолог, когда кандидат

наук умолк на мгновение. А издатель вспомнил:

— Одиссея, кажется, заманивали подобные же создания со сладкими голосами? Это было опасно.

— Ну да, ну да, сирены. Знаем. Мифические полудевы-полурыбы. Но я-то видел перед собой иное создание. Не испорченное ни природой, ни цивилизацией. Совершенное, трепетное, ангелоподобное, не выродившееся, а рожденное еще на остатках восхождения человека к своему совершенству. И вот его выплеснуло на берег уже и безрадостной земли. Случайно? А вдруг не случайно, вдруг чтобы показать нам, от чего мы ушли в своем цивилизованном уродстве?! Ведь она же не где-нибудь появилась, а среди феминисток! Чтобы видно было то и другое. А что если на заре человечества, когда на земле только и были, что саами да юкагиры, таких, как она, было много?! Если все такие были?! Они так доверчиво радовались и так доверчиво печалились, с таким восторгом встречали воротившегося с охоты мужика и с таким чувственным испугом произносили слова оберега, когда провожали его на охоту?! Сердца и головушки не были еще затуманены, кровь была свежей и чистой. Да и все вокруг купалось в необъятной весне...

Кандидат наук прервался: невидимой механической пилой, остро и уверенно частящей, звездное небо прорезал звук реактивного самолета. Задрав головы, они искали с земли проплывающие где-то там, пониз звезд, его бортовые огни, но тысячеглазое небо, все еще яркое и трепещущее, мечущее искры, ничему постороннему не дало показаться. И через минуту все ушло опять в тишину, загустевшую еще больше. Но рассказ уже был сбит, пропорот этим сорвавшимся невесть откуда гулким звуком, и весь воздух, все волнение из рассказа вышли. Только и сказано было вослед:

— Ну и что она — попела, попела и ушла?

— Попела, попела и ушла.

— А тебе не захотелось побежать за ней?

— А куда бежать? Некуда нам бежать.

— А это хорошо или плохо, что некуда бежать?

— Откуда я знаю, хорошо или плохо?

Кандидат наук поднялся в рост, потянулся, хрустнув телом, прислушался к себе, с усталым вниманием склонив голову, и принялся расправлять спальник. Поднялся и геолог, потоптался на месте, растирая ноги, потом исчез ненадолго в темноте и, возвращаясь, возвестил:

— Это мы, мужики, о себе тоскуем.

— О чем ты?

— Я, к примеру, очень даже о себе тоскую. Вот был человек, — с нажимом говорил геолог и выуживал из спальника какие-то тряпки, поднимал и узнавал их под ночным светом. — Вот был человек и все вроде при нем было!.. И куда сплыло? Хоть в розыск подавай. И такая тоска возьмет, такая тоска!

Еще поговорили вдвоем, не окликаая издателя, затихшего опять в неподвижности, но все слабей и короче, все невесомей становились голоса, пока не затихли совсем.

А издатель не спал. Небо отливало, звездный фейерверк утомленно пригас, искрило меньше и суше, луна, пряча откус, плыла как-то бочком, толчками, по краю восточного горизонта натягивалась дымчатая пелена, дыхание далеко

рождающегося рассвета. Речка слабо всхлипывала, тайга, потемнев, стояла слитной и безбрежной громадой, отливающей тонким глянцем, будто посыпана была серебристой росой небесного нагара.

Издатель баюкал свое сердце, то открывая, то закрывая глаза, и слабым движением головы отмахивался, как от комаров, от подступающих мыслей, по ночам особенно тревожных и болезненных. Но и это было хорошо — открывать и закрывать глаза, погружаться в колыбель высокой и яркой бесконечности, а потом спадать невесомо на темное дно, из зарослей которого являются образы и представления, все скорбные и немо вопрошающие, не ждущие ответа. И хорошо было бояться бессонницы, ее сторожевой неударжимой ступи по приглушенным чем-то мягким коридорам, Бог весть откуда и куда ведущим, и хорошо было чувствовать себя ее мучеником. И мыслей бояться, и с наслаждением ждать их, прокрадывающихся по тем же коридорам с внезапным появлением: шли, мол, мимо и зашли, у вас дверка была не заперта. И знать, что ничего утешительного в эту пору они принести не могут.

Иногда совсем близко было ко сну, и он не знал, спит или не спит. Находил туманный оболочек и пригашал сердце, укутывал сознание. И только душа-горемыка продолжала принимать подаяние, страдая оттого, что оно не вмещается в нее, — так оно было велико и с такой щедростью оно распахло необъятность милости и так она сама была мала и слаба, с таким опозданием приотворились перед нею неземные врата! И, раздираемая тем и другим, стучащимся в нее сияющим величием и собственной малостью, плакала она тихими и уже не плодоносными слезами.

Он опять открыл глаза и вгляделся. И не мог понять, что это перед ним: разноцветными кругами, тянущимися из одного радужно качающегося мотка, небо снизывалось и затухало в тайге. Сон это или не сон? Над темными волоками лесов колыхались мерцающие волны. Затем осторожно, как от неведомого вздоха, прошелся ветер и чуть слышно куда-то постучал. Издатель поднял голову и прислушался. Что-то будто медленно наползло на него по земле, пригаенными толчками раздвигая траву и листья. Он еще всматривался, замерев, еще искал, что это может быть, пока не зашуршало со всех сторон.

Пошел дождь.

